

## Тень автора

**Автор:**

[Джон Харвуд](#)

Тень автора

Джон Харвуд

Джерард Фриман вырос в небольшом провинциальном городке Австралии. С раннего детства он грезил о далекой сказочной Англии, о которой так упоительно рассказывала ему мама. Вскоре Джерард узнает, что причины, по которым она покинула родину, окружены тайной. В ее комнате он обнаруживает портрет неизвестной женщины, а затем – странный мистический рассказ о привидениях, написанный его прабабкой. Своими догадками и предположениями он делится с англичанкой Алисой Джессел, другом по переписке, которую никогда не видел и о которой ему почти ничего не известно...

Какие удивительные открытия ждут Джерарда на земле его предков, в старинном семейном особняке, полном таинственных теней, хранящих тайны трех поколений? Сумеет ли он избежать смертельной опасности и кто на самом деле автор пожелтевших дневников, жутких историй, загадочных писем, ведущих Джерарда навстречу его судьбе?

Джон Харвуд

Тень автора

THE GHOST WRITER by John Harwood

Copyright © John Harwood 2004

All rights reserved

© И. Литвинова, перевод, 2004

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ([www.litres.ru](http://www.litres.ru))  
(<http://www.litres.ru/>)

Посвящается Робину и Дейдр

Часть первая

Фотографию я впервые увидел в спальне матери. Это случилось жарким январским днем. Мать спала – во всяком случае, я так думал – на солнечной террасе в дальнем крыле дома. Я проскользнул в полуоткрытую дверь, упиваясь волнением от своего греховного поступка и с наслаждением вдыхая ароматы духов, пудры, помады и прочие взрослые запахи с примесью душка нафталиновых шариков и аэрозоля от насекомых, против которых были бессильны даже москитные сетки. Жалюзи на окнах были опущены, и в их слепые прорези виднелась лишь голая кирпичная стена соседнего дома, в

котором жила старенькая госпожа Нунан.

Я прокрался к туалетному столику матери и замер, прислушиваясь. В доме было тихо, если не считать еле слышных потрескиваний и скрипов, доносившихся сверху, как будто кто-то ползал в темных пустотах над потолком, хотя отец и уверял, что эти звуки издает, расширяясь от жары, железная крыша. Один за другим я попытался открыть ящики, которых было по три с каждой стороны. И, как всегда, запертым оказался лишь левый нижний. Беда была в том, что ящики разделялись между собой встроенными деревянными панелями, так что, даже вытащив верхний, все равно невозможно было узнать, что находится в следующем. В прошлый раз я уже успел порыться в куче всевозможных тюбиков, баночек и склянок в верхнем ящике правой тумбы. Сегодня мне досталась коробка из-под обуви, доверху набитая пакетиками с иголками и пуговицами, катушками цветных ниток и мотками безнадежно спутанной шерсти.

Чтобы проверить, не спрятано ли что еще за коробкой, я с силой потянул на себя ящик. Он застрял, а потом вдруг чуть ли не выпрыгнул из столика и с глухим стуком ударился об пол. Я попытался запихнуть ящик обратно, но он никак не слушался. Мне уже стало мерещиться, будто я слышу приближающиеся шаги матери, но было тихо. Смолкли даже звуки, доносившиеся с потолка.

Казалось странным, что ящик не лезет обратно. Если только не предположить, что ему что-то мешает. Что-то холодное и твердое, прикрепленное к задней стенке. Маленький медный ключик. Я достал его из тайника и открыл запертый ящик, прежде чем до меня стал доходить великий смысл происходящего.

Первое, что я увидел, была книга, название которой долгие годы оставалось для меня загадкой. Хамилон? Хемлион? Халемон? Я не знал этого слова. Серая бумажная обложка, усеянная пятнышками цвета ржавчины, крошилась по краям. Картинок в книге не было, и вся она казалась слишком взрослой и скучной.

Больше мне ничего не удалось найти. Но обнаружилось, что дно ящика было выстлано не просто коричневой бумагой, а очень большим конвертом. На нем был отпечатан адрес, наклеены марки, а с одного края он был надрезан ножом. Однако меня ждало еще одно разочарование: внутри оказалась всего лишь толстая пачка страниц с машинописным текстом, перехваченная выцветшей черной лентой. Когда я вытащил сверток, мне на колени упала фотография.

Я никогда раньше не видел этой женщины, но вместе с тем у меня возникло ощущение, будто я знаю ее. Она была молода, красива и, в отличие от большинства людей на фотографиях, смотрела не прямо в объектив, а куда-то чуть в сторону, слегка вздернув подбородок, как будто и не догадывалась, что за ней наблюдают. И еще она не улыбалась, – по крайней мере, поначалу казалось именно так. Продолжая разглядывать ее, я вдруг поймал себя на том, что замечаю нечто похожее на улыбку – неуловимую черточку, спрятавшуюся в уголке рта. У женщины была удивительно длинная и изящная шея, и, хотя фотография была черно-белой, мне казалось, я вижу, как играют краски на ее лице. Очень густые волосы были зачесаны назад и заплетены в длинную косу, а ее мантия – мне почему-то казалось, что такое роскошное платье должно называться именно так, – была из темного мягкого бархата. На плечах ткань была затейливо присборена и напоминала крылья ангела.

Как я слышал, мальчикам положено считать своих матерей красавицами, но я подозревал, что в моем случае это не так. Моя мать выглядела старой и ссохшейся в сравнении с матерями моих одноклассников, и еще она была очень нервной и беспокойной. Последнее время ее состояние заметно ухудшилось. Под глазами залегли темные круги, морщины стали еще глубже, а в волосах, некогда темно-каштановых, появились седые пряди. Меня терзала мысль о том, что это я своим недостойным поведением довел мать до такого состояния; вместо того чтобы быть пай-мальчиком, я вот роюсь в ее секретном ящике. Впрочем, я знал, что, даже если бы я ничего плохого и не делал, у матери все равно был бы такой же обеспокоенный и затравленный вид. Между тем женщина на фотографии выглядела умиротворенной и красивой. И живой. Мне ни разу не приходилось видеть на снимках настолько живые лица.

Я все еще стоял на коленях, задумчиво разглядывая фотографию, когда вдруг до меня донесся свистящий шепот. Мать застыла в дверях, сжав кулаки, ноздри ее раздувались от гнева. Пучки волос торчали во все стороны, глаза, готовые вылезти из орбит, бешено вращались. Какое-то мгновение, показавшееся долгим и страшным, она не могла двинуться с места. И вдруг сорвалась, кинулась на меня, обрушилась с кулаками, нанося удары повсюду, куда могла достать, сопровождая их дикими криками, пока я не вырвался и, рыдая, не бросился бежать.

От старенькой госпожи Нунан я узнал, что, если беспричинно дрожишь, значит кто-то бродит по твоей могиле. У худой и сгорбленной госпожи Нунан были

скрюченные руки с пергаментной кожей и странными шишками на костяшках пальцев; от нее всегда пахло затхлой лавандой, и она постоянно мерзла, даже летом, особенно когда делала первый глоток чая. Моя мать не одобряла подобных высказываний соседки, так что та предпочитала дрожать молча, когда пила чай у нас на кухне, но я-то знал, что она имеет в виду. Я представлял себе, что кто-то отыскал могилу моей матери – некий человек в темных одеждах и с белым лицом мертвеца. Завидев постороннего, он прячется за надгробным камнем, так что поймать его не удастся. Вот почему у матери на лице так часто и беспричинно появляется это озабоченное выражение. Бывали дни, когда можно было предположить, что этот человек все ходит и ходит, ходит и ходит по ее могиле.

Иногда мы проезжали мимо местного кладбища, но внутрь не заходили, поскольку навещать там было некого. Родители моего отца похоронены в Сиднее; у него была еще замужняя сестра, которая жила в Новой Зеландии и писала нам на каждое Рождество, но в гости ни разу не приезжала. Все родственники моей матери погребены в Англии, и именно там, как мне представлялось, должна была бы находиться ее могила.

Мосон – разросшийся провинциальный город – тянулся вдоль Тихоокеанского побережья. Когда-то он назывался Лейхгардт, в честь какого-то исследователя-неудачника, так и не вернувшегося из пустыни, пока однажды городской совет не решил придумать для города более жизнерадостное название. Кроме сохранившегося старого центра, смотреть в городе было нечего: повсюду строились лишь торговые центры да автозаправки, а на многие мили вокруг раскинулись безликие пригороды. Пляжи к югу, горы на севере, а дальше только пустыня. Вот где можно закончить свой жизненный путь, если пересечь узкую полосу пахотной земли там, за горами, и двинуться дальше на север, сквозь бесконечные пески и солончаки пустыни. Летом, когда дул северный ветер, тучи мелкого красного песка обрушивались на город. Даже находясь в помещении, можно было ощутить на зубах его скрип.

Рассказы матери о детстве, проведенном в английской провинции, изобиловали деталями, совсем не характерными для нашего Мосона, вроде зябликов и поденок, наперстянок и боярышника, бондарей и кузнецов, а еще в них фигурировал некий старикан господин Бартоломью, развозивший по домам на своей запряженной в телегу кобыле свежие молоко и яйца. Когда школа-интернат закрывалась на каникулы, мать жила со своей бабушкой Виолой, поваром и горничной в поместье Стейплфилд, где было бесчисленное

количество лестниц и чердаков, там у нее была лучшая подруга Розалинда, которой разрешали гостить у них все лето. Мать так живо описывала их любимые совместные прогулки, что у меня возникало ощущение, будто я сам участвовал в них, если только удавалось слушать не перебивая. Особенно мне нравилось описание маршрута, который пролегал через поля с их безмятежными коровами, потом через потайную калитку уводил в дубовый лес, где, если двигаться очень тихо, можно было встретить зайца или барсука, а оттуда – на поляну, где они обнаруживали, и это каждый раз оказывалось для меня полной неожиданностью, беседку. Однажды мать даже нарисовала ее для меня. Она чем-то напоминала уменьшенную копию эстрады в нашем Мемориальном парке, но только блестела свежей краской кремовых, голубых и темно-зеленых тонов, а на деревянных полированных сиденьях лежали подушки. Там подружек никто не беспокоил, так что они засиживались подолгу – болтали, читали или просто смотрели вдаль, любуясь кораблями, пришвартованными в Портсмутской гавани.

В Стейплфилде моя мать и Розалинда могли бродить где угодно, чувствуя себя в полной безопасности, в то время как в Мосоне мальчишки, забредшие далеко от дома, рисковали быть похищенными прямо на улице проезжающими в машинах незнакомцами или стать жертвами уличных хулиганов. Наш дом, стоявший на окраине старого города, представлял собой бунгало из красного кирпича – настоящего двойного кирпича, как не уставал повторять мой отец, критикуя современные постройки с дешевой кирпичной облицовкой.

Как и все другие дома нашей улицы, он занимал четверть акра безжизненной равнины. Единственная ступенька вела к крыльцу, за которым начинался холл, где при закрытой двери всегда было темно. В доме были оштукатуренные стены – кремовые с причудливым коричневатым оттенком, на полу лежал темно-зеленый узорчатый ковер, источавший слабый запах псины, хотя собаки у нас никогда не было. Справа располагалась спальня матери, самая большая из имеющихся трех, далее следовала гостиная (которую всегда называли только гостиной и никогда – залой). Налево шли спальня отца, потом моя комната и наконец кухня с ее серым линолеумом, фанерными шкафами зеленого цвета, столом и стульями, покрытыми ламинатом, и старым желтым холодильником, который открывался с помощью допотопной ручки. По ночам до меня доносились грохот, сопровождавший каждое включение мотора, и тяжелое дыхание агрегата. Из кухни можно было пройти в ванную и прачечную и далее в небольшую нишу, называемую в доме кабинетом. Она находилась прямо напротив солнечной террасы, которая на самом деле была всего лишь пристройкой; сооруженный из цементных плит и обшитый деревом, этот кабинет – единственное помещение в доме, где в течение всего дня было светло.

По мере того как я становился старше, пустынные окраины города превращались в индустриальные зоны, и на нас постепенно надвигались кварталы новостроек из дешевого кирпича, однако наш дом твердо стоял на земле. Поденок в нашей округе не было, зато водились португальские многоножки – в пору осенних дождей бес численные полчища этих тварей, членистых, закованных в броню, выползали из-под палой листвы и устремлялись к свету. Зимой, если отец забывал опрыскать дорожки во дворе, внутренние стены дома за ночь становились черными. Тогда приходилось брать щетку и соскабливать членистоногих со стен, а потом сгружать это отвратительное месиво в ведро и выносить на улицу. Многоножки были вполне безобидными, но моя мать терпеть не могла их влажных липких прикосновений. И стоило раздавить хотя бы одно насекомое, стойкий ядовитый запах распространялся по всему дому.

Летом многоножки уходили под землю, и начиналось нашествие муравьев. На их бесконечные черные ряды, ползущие по шкафам для посуды, казалось, не действовал ни один яд. Кухонные муравьи, вообще-то, не жалили, но, если долго стоять босиком возле их тропки, можно было почувствовать легкое покусывание крошечных челюстей. А вот во дворе жили свирепые рыжие муравьи, которые впивались в кожу, словно раскаленные иголки; и некоторое время строили гнезда ядовитые осы. Эти могли довести до больничной койки; стоило оступиться и упасть на их жилище – можно было считать себя покойником. Точно то же происходило, если кто-то по глупости оставлял без присмотра открытую банку с газировкой. Оса пробиралась внутрь и, как только человек делал глоток, впивалась в горло. Удушье оказывалось смертельным. А в сарае прятались красные пауки, поэтому, пока мы не перешли на газовое отопление, всякий раз, когда возникала нужда принести дрова, приходилось надевать плотные резиновые перчатки и к тому же громко топтать на тот случай, если вместе с пауками среди полениц таилась и смертоносная коричневая змея, вроде той, что убила кошку госпожи Нунан.

В Стейплфилде не требовалось развешивать липкие ловушки для мух и в летние ночи можно было оставлять окна открытыми. У нас же на всех дверях и окнах были москитные сетки, которые служили защитой от мелких черных мушек, роившихся снаружи и атаковавших свою жертву, залепляя глаза и ноздри, забираясь в уши, а также от огромных, грузных падальных мух, которые, по словам матери, сблевывали в вашу еду все, что они только что съели, стоило лишь отвернуться. Но никакая сетка, пусть даже самая частая, не могла противостоять напору летающих муравьев, которые в первую же теплую ночь

весны прорывались в комнату и густым облаком окружали лампочку. Утром приходилось сгребать с пола их слегка подрагивающие тельца с опаленными крыльями.

Если бы не рассказы матери, возможно, Мосон – с его уличными хулиганами, многоножками и прочими прелестями – и стал бы для меня настоящим домом. Но, сколько я себя помню, меня всегда мучил вопрос: почему же мы не живем в Стейплфилде? Хотя стоило мне задать его матери, как поток ее воспоминаний тут же прерывался и она начинала рассуждать о вполне прозаических вещах. И дело не в том, что Стейплфилд был давно продан другим людям, и даже не в том, что мы уже не могли позволить себе содержать такой дом. Просто Англия стала совсем другой. Там, где некогда распевали зяблики, теперь высились горы мусора, которые служили рассадником для гигантских крыс, поедающих собственных детенышей и равнодушных к самым сильным ядам. Долгое и безоблачное лето осталось в далеком прошлом; теперь одиннадцать месяцев в году лили дожди, и перебои с углем и электричеством стали нормой. К тому времени, как мне исполнилось лет семь или восемь, я научился не спрашивать, но вопросы остались. Ни у кого из наших соседей не было комнат на втором этаже, не говоря уже о личном поваре. Держать в доме лишнего человека только для того, чтобы он жарил отбивные, варил овощи и открывал консервные банки, показалось бы здесь странным. И все-таки я не мог побороть в себе щемящую тоску по винтовым лестницам и прислуге, отсутствие которых считал следствием глубокой неудачи, заставившей нас осесть в Мосоне.

Всю вторую половину дня я прятался в гараже, опасаясь очередной порки. Но мать так и не позвала меня, и в конце концов голод и жажда заставили меня вернуться в дом для продолжения разговора. Нет, нет и нет – все твердил я матери.

– Посмотри мне в глаза, Джерард!

Но ведь я ничего не сделал, только посмотрел фотографию женщины. Я хотел спросить, кто она, но не осмелился – ни тогда, ни потом.

– Совать нос в частную жизнь другого человека – страшный грех! – наконец сказала мать. Слово «грех» она произносила крайне редко. – Это все равно что читать чужие письма и дневники или подглядывать в замочную скважину. Обещай мне, что ты больше никогда, никогда, никогда не сделаешь ничего подобного.

Я пообещал, но это не остановило меня, и при первой же возможности я снова прокрался в ее спальню, только лишь для того, чтобы обнаружить, что ящик заперт, а медный ключик из тайника исчез.

К концу летних каникул мать, похоже, забыла о моем проступке. Но что-то изменилось, и я никак не мог понять, что именно, пока до меня не дошло: с тех пор как мать поймала меня с фотографией, она ни разу не упомянула ни о Стейплфилде, ни о Виоле. Я вновь и вновь пытался завести разговор, но тщетно; на мать, казалось, тут же находил приступ глухоты, а взгляд становился совершенно отсутствующим, пока я не менял тему или просто не уходил ни с чем.

Мне это казалось двойным наказанием. Разговоры о Стейплфилде были тем приятнее, что помогали смягчить ее вечно напряженное выражение лица. А теперь выходило так, что я своей дерзкой выходкой не только закрыл для себя волшебный мир материнского детства, но и лишил мать удовольствия говорить о нем. Я бродил по дому, стараясь быть пай-мальчиком или, по крайней мере, выглядеть таким, но ничего не помогало. Отец казался еще более далеким, чем обычно.

Постепенно я убедился, что мать вовсе не перестала любить меня; в самом деле, чем старше я становился, тем сильнее она переживала и боялась за меня. В отличие от моих одноклассников, мне не разрешалось свободно гулять по городу, хотя я и не особенно к этому стремился; мир, простиравшийся за пределами местных магазинчиков, представлялся зловещим, исполненным скрытых угроз в виде ядовитых змей, уличных хулиганов и мужчин с обманчивой внешностью джентльменов, которые на самом деле охотились за праздно шатающимися мальчиками. Даже чиновник из департамента статистики, однажды вечером постучавшийся в нашу дверь, был в глазах матери потенциальным похитителем детей. Если бы дома не оказалось отца, она так и не стала бы отвечать на вопросы статистика. Матери каждую минуту необходимо было знать, где я нахожусь; если я хотя бы на полчаса позже возвращался из школы, то непременно заставал ее возле телефона в холле. Я знал, что составляю для нее смысл жизни, и все-таки тема ее прошлого – не только Стейплфилд, но и вся жизнь матери до приезда в Мосон, где она вышла замуж за отца, – так и оставалась запретной.

У нас были фотографии родителей отца, его сестры, ее мужа и детей, но материнских – ни одной, если не считать свадебных и нескольких более поздних снимков. Свадебная фотография, где родители запечатлены на ступеньках мэрии Мосона в мае 1963 года, была черно-белой, и новобрачные сняты на ней одни. Никакой свадебной мишуры. На матери – юбка, пиджак и туфли из категории «практичных». Тридцать четыре года – эту цифру я потом узнал из моего свидетельства о рождении, – тридцать четыре года жизни Филлис Мэй Хадерли словно были стерты в тот самый миг, как она стала законной супругой Грейема Джона Фримана. Отец подставляет ей левую руку, она неловко опирается на нее. Он тоже как-то неестественно прижимает кулак к груди. Голова матери находится на уровне платка, который торчит из нагрудного кармана отцовского пиджака. Темный костюм отца не слишком ладно скроен: рукава коротки, плечи обвисают. Жениха легко принять за отца невесты, хотя он всего на одиннадцать лет старше. Нижняя часть его лица уже приняла несколько сморщенный, обезьяний вид; так выглядят старики, забывшие вставить в рот зубной протез. И хотя мать утверждала, что в день их свадьбы светило солнце, оба они выглядят замерзшими и полуголодными, словно действие происходит холодной английской зимой десятью, а то и больше, годами раньше, когда в стране еще действовала карточная система.

Думаю, отец вряд ли знал о ее прежней жизни больше, чем я. Казалось, он от природы был начисто лишен любопытства. Его собственный отец – мой дед – был из семьи инженеров, проживавшей в Саутгемптоне; он эмигрировал в Сидней в двадцатые годы, женился, пережил времена Великой депрессии, отслужил механиком в ВВС Австралии и открыл собственную автомастерскую. Дед был приверженцем вековых традиций английского качества, верным подданным правящего британского монарха, чей портрет украшал стену в его рабочем кабинете. Если бы мой отец захотел отобразить историю своей семьи, он наверняка прибегнул бы к показаниям микрометра и всяким там коэффициентам расширения, а характеризуя работоспособность, непременно указал бы, что допуск следует измерять даже не тысячными, а десятитысячными долями дюйма. Как чертежник, отец должен был бы хорошо ориентироваться в новой метрической системе, но дома мы пользовались исключительно британской. Что бы там себе ни думали в мосонской средней школе, я твердо знал, что реальность измеряется в фунтах и унциях, футах и дюймах, цепях и фарлонгах, акрах и милях и еще в каких-то странных библейских единицах, именуемых кьюбитами.

Если не считать работы, у моего отца, казалось, была единственная цель – пройти по жизни как можно тише и незаметнее. Насколько я помню, мои

родители спали порознь, хотя совершенно очевидно, что хотя бы раз в жизни они должны были разделить супружеское ложе. Отцовская комната чем-то напоминала монашескую келью. Дощатый пол, одинокая кровать, рядом тумбочка, гардероб, комод. И единственный стул с высокой спинкой. В общем, бесхитростная обстановка. На комодке он держал вправленную в рамку фотографию матери, одну из немногих имеющихся в доме. На ней она стояла на крыльце в костюме и очередных «практичных» туфлях и натужно улыбалась. Как будто была не дома, а где-то очень далеко. Родители обращались друг к другу ласково, и я никогда не слышал, чтобы они ссорились. Каждое утро отец забирал с собой завтрак, который готовила для него мать, и отправлялся на работу в департамент землепользования. Он копался в овощных грядках, чинил автомобиль, ремонтировал что-то по дому. Все остальное время отец проводил со своими поездами.

Поначалу эта штука предназначалась только мне: в углу гаража установили игрушечную электрическую железную дорогу на доске шесть на четыре фута. Овальной формы колея с внутренней петлей, запасный путь, две станции, туннель под горой из папье-маше. Всего через несколько часов игра мне надоела; тогда отец соорудил дополнительную колею, но и это не смогло оживить мой интерес. Шли годы, мы по-прежнему говорили о «поездах Джерарда», а между тем железная дорога разрасталась, колеи множились, появлялись новые семафоры и водонапорные башни, так что вскоре нашему автомобилю пришлось отправиться ржаветь под открытым небом. Отец купил старый керосиновый обогреватель, чтобы зимой в гараже было тепло, а потом и подержанный кондиционер для борьбы с изнуряющей летней жарой. Дорога приобретала все более впечатляющие размеры; вскоре в гараже остались лишь два узких прохода, по которым отец пробирался в дальний конец гаража, где у него было оборудовано рабочее место начальника станции: стол, электрический чайник, старое вращающееся кресло и ряды выключателей, рычагов и циферблатов, все с кодовыми обозначениями на ярлычках, причем код хранился только в отцовской голове. Железная дорога была полностью электрифицирована: не только поезда, но и стрелки, указатели, сигналы, даже миниатюрные звоночки. Отец сам закупал на всевозможных аукционах и распродажах необходимые компоненты – реле, соленоиды, реостаты, бесчисленные катушки с разноцветными проводами. Когда в гараже не работал кондиционер, оттуда доносился гул трансформаторов.

У каждой ветки было свое расписание, а все станции носили названия английских деревень, например Ист-Уокинг, Литтл-Барнстапл, но детище отца нельзя было назвать макетом или моделью – это был самодостаточный,

идеально организованный мир, в котором даже самая крохотная деталь в точности повторяла оригинал, разве что человеческих фигурок там не было. У некоторых любителей мне случалось видеть толпы миниатюрных пассажиров на платформах, поля, на которых паслись фарфоровые коровы, любовно расписанные вручную, но вселенную моего отца населяли исключительно поезда. Если бы не мать, чьи нервы он берег, я думаю, отец и сам с удовольствием переселился бы в свое убежище, а так он каждый вечер ровно в десять часов двадцать семь минут загонял в депо последний поезд и с сознанием исполненного долга возвращался к себе. Перед сном мы с отцом любили «перетирать то да се», и лишь однажды это правило было нарушено, как раз незадолго до моего восемнадцатилетия, когда отец не пришел домой ни в половине одиннадцатого, ни в одиннадцать и мать нашла его мертвым за диспетчерским пультом, в то время как одинокий поезд на полной скорости все мчался и мчался по кругу.

Если бы мне довелось увидеть фотографии Стейплфилда, возможно, они обеднили бы мое представление о поместье, насыщенное красками такой глубины и оттенками такой тонкости, которые были невысказаны в Мосоне. Но воспоминания о Стейплфилде – именно воспоминания, поскольку рассказы матери составили в моем воображении настолько точный образ этого места, что я мог подолгу мысленно путешествовать там, посещать кузницу на деревенской улице, представлять себе Виолу – элегантную, седовласую, сидящую за письменным столом орехового дерева, заглядывать в две спальни на чердаке, с их темными дощатыми полами, покрытыми персидскими коврами, и окнами на щипцах; бросать взор на поля к югу от поместья, отмечая беседку на склоне холма; видеть все в мельчайших деталях, – эти воспоминания были единственной отдушиной в той мрачной жизни, на которую обрекла меня мосонская средняя школа. Пока я не встретил (не знаю, как выразить точнее) свою невидимую подругу, Алису Джессел.

Письмо пришло жарким душным утром, когда летние каникулы уже близились к концу. Мне было тогда тринадцать с половиной. Последние свободные деньки утекали как вода. Вот уже несколько недель стояла такая жара, что хотелось только валяться на кровати с книгой или просто слушать треск вентилятора, гонявшего теплый воздух, и мечтать, чтобы время остановилось или, наоборот, ускорило свой бег. Впереди ничего не светило, разве что еще один год мучительного пребывания среди зубрил, трусов и слабаков. Я услышал, как за окном притормозил мотоцикл почтальона, и, чтобы хоть чем-то занять себя, рванул к почтовому ящику.

Кроме обычных счетов и рекламных проспектов, мои родители получали очень мало почты, тем более из-за океана, разве что иногда приходило случайное приглашение вступить в какой-нибудь читательский клуб. И насколько я помню, мне никогда не приходилось держать в руках письма, адресованные лично мне. Однако на том конверте стояло мое полное имя: господину Джерарду Хью Фриману. Сунув письмо в карман – и вовремя, поскольку мать уже направлялась ко мне, – я вручил ей остальную почту.

«Международный клуб друзей по переписке» – значилось на конверте. Далее шел адрес отправителя: почтовый ящик 294, Маунт-Плезант, Лондон. Авиа. Внутри было письмо, тоже напечатанное на машинке. Оно начиналось с обращения: «Дорогой Джерард». Меня спрашивали, не желаю ли я приобрести друга по переписке, и если да, то кого предпочтительнее – девочку или мальчика. От меня требовалось лишь отправить ответ в прилагаемом конверте секретарю клуба, мисс Джульетте Саммерз, и рассказать немного о себе – тогда ей будет легче подыскать мне хорошего друга.

Я мог заранее предсказать реакцию матери. Но письмо мисс Джульетты Саммерз было таким теплым и дружеским, что в итоге я накатал ей ответ на нескольких страницах – даже рассказал про Стейплфилд – и попросил найти мне подружку по переписке. Все это я проделал на одном дыхании, зная, что не должен давать себе времени на раздумья, и только на обратном пути с почты до меня дошло, что ответ, скорее всего, попадет в руки матери.

Совершенно очевидно, что, вернувшись из ненавистной школы в следующую пятницу, я застал мать в холле с конвертом в руке. Ноздри ее были подозрительно напряжены.

– Тебе письмо, Джерард, – с упреком в голосе произнесла она. – Вскрыть его для тебя?

– Нет. Я могу его взять, мама?

Вообще-то, мне полагалось бы сказать: «Нет, спасибо, мама» или, на худой конец: «Ну пожалуйста, мама, можно мне его взять?» Слово «мамочка» она ненавидела и запрещала его употреблять. Но сегодня мать не стала выговаривать мне за грубость – она просто стояла, переводя взгляд с меня на конверт и обратно.

И в этот момент я впервые в жизни осознал, что правда на моей стороне.

- Пожалуйста, я могу взять свое письмо, мама? – повторил я.

Медленно, неохотно она протянула его мне. «Международный клуб друзей по переписке» – увидел я знакомую надпись. Конверт был слегка помят.

- Спасибо, мама, – сказал я, удаляясь в свою комнату.

Но мать не собиралась отступать:

- Джерард, ты давал кому-нибудь наш адрес?

- Нет, мама.

- Тогда почему они прислали его сюда?

Я хотел было ответить, что это мне неизвестно, когда вдруг понял, к чему она клонит. То, что я самовольно достал письмо из почтового ящика и ответил на него, не сказав ей ни слова, было в ее глазах подлым, нечестным поступком. Я почувствовал, как ослабевает во мне уверенность в собственной правоте.

- Я... я увидел объявление на доске в школе, – начал импровизировать я. – Ну, насчет друзей по переписке.

- А госпожа Бротон разрешила тебе написать туда?

- Нет, мама, я просто... захотел переписываться с кем-нибудь.

- Выходит, ты все-таки дал им наш адрес.

- Думаю, да, – пробормотал я, выбирая, как мне казалось, из двух зол меньшее.

- Ты не имел права этого делать. Без моего разрешения. А где ты взял почтовую марку?

– Купил на свои карманные.

– Понятно... Джерард, – произнесла она тоном, не терпящим возражений, – я хочу, чтобы ты показал мне письмо.

Я боялся, что если сделаю это, то больше письма не увижу.

– Мама, ты ведь всегда говорила, что письма – это глубоко личное... Почему мне нельзя прочитать письмо, которое адресовано мне? – Мой голос сорвался на визг.

Она густо покраснела, гневно взглянула на меня и, развернувшись, пошла прочь.

Письмо было напечатано на машинке, однако отправителем была не мисс Саммерз.

Дорогой Джерард!

Надеюсь, ты не будешь в обиде, но мисс Саммерз переправила мне твое письмо (от нее приходит и много других писем, просто твое мне больше всего понравилось), и, признаюсь, именно с таким человеком я хотела бы переписываться. Поэтому я попросила у мисс Саммерз разрешения написать тебе напрямую. Конечно, ты можешь не отвечать мне, если не захочешь!

Меня зовут Алиса Джессел, в марте мне исполнится четырнадцать лет, и я, как и ты, единственный ребенок в семье, если только не считать, что мои родители погибли: мы вместе попали в автокатастрофу. Может, не стоило бы это писать вот так сразу, но я хочу закрыть эту тему. Если вдруг тебе не захочется читать дальше, я не обижусь, тем более что я не ищу жалости и сострадания, мне просто хочется иметь друга. Итак, как я уже сказала, мои родители погибли в автокатастрофе, это случилось три года назад. Я осталась жива, потому что сидела на заднем сиденье, но пострадал мой позвоночник, так что я не могу ходить. Впрочем, с руками у меня все в порядке – а печатаю я потому, что у меня плохой почерк, да и печатаю я быстрее, чем пишу. И поскольку у нас не было родственников, которые могли бы взять меня на попечение, мне пришлось

поселиться в доме для инвалидов. Понимаю, «дом для инвалидов» звучит ужасно, и, поверь мне, поначалу это было просто невыносимо. Но сейчас я могу сказать, что это чудесное место в сельской местности, в Суссексе. Мое пребывание здесь оплачено страховой компанией, и со мной за ни маются учителя, так что не нужно ходить в школу. У меня красивая комната, из окна видны поля, деревья и все такое.

Ну вот я и покончила с этим. Я действительно не хочу, чтобы меня жалели, мне нужно, чтобы ты считал меня – если, конечно, у тебя будет желание дружить со мной – нормальным человеком, который хочет нормально общаться. Я не смотрю телевизор и не слушаю поп-музыку, зато очень люблю читать – мне кажется, ты тоже, – и я бы с удовольствием поговорила о книгах со своим сверстником. (Меня окружают замечательные люди, но они гораздо старше меня.) И еще мне хочется дружить, быть частью чьей-то жизни. Что ж, думаю, хватит об этом.

Сейчас у нас на полях лежит снег, но ярко светит солнце, белки прыгают по ветвям огромного дуба, что растет у меня за окном, а три пухленькие птички сидят на подоконнике и так громко щебечут, что заглушают стук клавиш моей машинки! Знаешь, место, где я живу, чем-то напоминает родной дом твоей матери – большой, из красного кирпича, в окружении лесов и полей. Мосон мне представляется ужасно сухим и жарким! Извини, это, наверное, невежливо, я имела в виду, что в Мосоне, конечно, здорово, просто у нас здесь все совсем по-другому.

Пожалуй, на этом я закончу и отдам письмо сестре-хозяйке (она мне как родная тетушка) для передачи его мисс Саммерз. Понимаешь, клуб друзей по переписке – это что-то вроде благотворительной организации, они сами оплачивают почтовые расходы. Так что, если захочешь, можешь писать на адрес мисс Саммерз, а она, пересылая твои письма мне, будет прикладывать купоны для бесплатного ответа – ты их будешь получать от меня, и тебе не придется тратиться на марки. Наши письма останутся конфиденциальными, можешь не сомневаться.

А теперь мне действительно пора остановиться. Пока я не запаниковала и не скомкала это письмо от страха показаться полной идиоткой.

С искренними пожеланиями,

Алиса

P. S. По-моему, Джерард – очень красивое имя.

Я лежал на кровати и перечитывал письмо Алисы снова и снова. Мне она казалась невероятно храброй девчонкой, но при этом я действительно не испытывал к ней жалости. Симпатию – да, и, хотя мысль о сироте, прикованной к инвалидной коляске, навевала ужас, ее письмо вызвало у меня такое чувство, будто я, продрогший от ледяного холода, впервые отогрелся у огня.

«Читать чужие письма – страшный грех». Но ведь это не остановило меня от новой попытки вскрыть ящик в туалетном столике матери. Я огляделся по сторонам в поисках тайника, где можно было бы спрятать письмо. Под матрасом? На шкафу? За книгами на полке? Нет, все не то. Я вновь подумал о том, какая же Алиса смелая, и мне вдруг стало стыдно оттого, что я, детина тринадцати с половиной лет, учащийся старшей школы, до сих пор боюсь сказать матери, что да, у меня есть подруга по переписке и ее письма я никому не собираюсь показывать.

Но вечером того же дня, увидев за обедом недовольное выражение лица матери, я в который раз был вынужден признаться себе, что я действительно был трусом.

– Мама, я хотел бы... пожалуйста... можно, я напишу моему... ммм...

– Ты никому не напишешь, Джерард. Я все еще жду, когда ты отдашь мне это письмо.

– Мама, но ты всегда говорила, что нельзя читать чужие... – Мой голос опять предательски дрогнул.

Мать явно закипала. Предчувствуя неминуемый скандал, отец предпочел сосредоточиться на своей отбивной.

– Я прочитаю это письмо, потому что ты отдашь его мне. Кстати, что это за друг по переписке?

– Она... она...

- Девочка? Ты не станешь переписываться ни с какой девочкой, пока я не увижу это письмо и сама не напишу ее матери.

- У нее нет матери, - выпалил я. - Она сирота и живет в приюте.

Я чувствовал, что предаю Алису, но не видел иного выхода.

- И где этот приют?

- Где-то в провинции.

- Письмо пришло из Лондона, - отрезала она.

- Они просто пересылают их - я имею в виду клуб по переписке - и оплачивают почтовые расходы за детей... ну, вроде Алисы... у которых нет родителей.

- Ты хочешь сказать, что это благотворительная организация?

Я поспешно кивнул. Мать на мгновение задумалась. Казалось, она испытывает некоторую неловкость.

- Ох... Что ж, конечно, я напишу им сначала... но думаю, что... в общем, походи и принеси мне это письмо. Тогда посмотрим.

А я-то обрадовался, что мне удалось соскочить с крючка.

- Мама... - безнадежно произнес я.

- Это его письмо, Филлис.

Думаю, если бы вдруг заговорила, скажем, ваза с фруктами, эффект был бы не столь ошеломляющим. От потрясения мать открыла рот, но не могла произнести ни звука. Отец выглядел удивленным в неменьшей степени.

– Я пойду принесу адрес, – воспользовался я моментом, понимая, что мать не успокоится, пока не напишет Джульетте Саммерз.

Мать рассеянно кивнула, и я оставил родителей воззрившимися друг на друга в безмолвном удивлении.

Убрав посуду, я отправился в гараж и попросил у отца коробку с замочком, где мог бы «хранить кое-какие мелочи». Отец явно был настроен вести себя так, как будто ничего особенного не случилось. Он вручил мне увесистый металлический ящик для инструментов с блестящим висячим замком и ключиком, и остаток вечера мы провели за игрой в поезда. Я чувствовал: он понимает, за что я был ему благодарен.

В тот же вечер я сел за свое первое письмо к Алисе и продолжал писать его все выходные, исписывая страницу за страницей, выплескивая все, что накопилось. Я рассказал и о стычке с матерью, и о школьных перипетиях, и о том, что мне нравится и не нравится, но больше всего я писал о Стейплфилде; о том, что он значит для меня, и о том, что мать перестала говорить о нем, после того как я нашел фотографию в ее комнате. Я писал, повинувшись душевному порыву, чувствуя, что не должен перечитывать написанное и даже думать о том, что делаю. А потом две недели, которые оказались для меня пыткой, терзался страхами и надеждой, пока наконец не пришел ответ, и я понял, что сделал все правильно.

Мать так и не сказала мне, написала ли она Джульетте Саммерз. Она вела себя так, словно письма, которые я, возвращаясь из школы, находил на своем столе, материализовались без ее ведома. Иногда мне хотелось сделать шаг, чтобы вернуть ее расположение, но я понимал: стоит мне заговорить с матерью об Алисе, и я уже не смогу остановиться, пока не выложу ей все в мельчайших подробностях.

Так что к запретной теме Стейплфилда добавилась еще одна – Алиса. Но теперь я мог писать Алисе, а уж она-то готова была без устали внимать моим рассказам о Стейплфилде, да и, казалось, обо всем, что было так или иначе связано с моей жизнью. У меня даже возникало ощущение, будто она пишет мне из Стейплфилда, ведь из ее окна открывался пейзаж, который так часто описывала мать: традиционный английский сад с высокими деревьями, а за ним зеленые луга, плавно переходящие в лесистые холмы.

Мне хотелось точно знать, где живет Алиса, чтобы найти это место в атласе. Но с самого начала Алиса установила твердые правила.

Джерард, мне необходимо, чтобы ты понял, почему я не хочу говорить о своей жизни до аварии. Я люблю своих родителей, думаю о них постоянно. У меня часто возникает ощущение, будто они совсем рядом и наблюдают за мной. Наверное, это звучит глупо. Но чтобы жить дальше, я должна была избавиться от всего, что связывало меня с прошлым. От друзей, от всего, понимаешь? Единственное, что навсегда осталось со мной, – это любимая фотография моих родителей, она сейчас передо мной, на моем столике. Может, это прозвучит странно, но мне кажется, будто я умерла вместе с ними, а потом случилась реинкарнация, и вот я живу на этой земле, но уже совсем другая. Я знала, что если скроюсь под одеялом жалости к себе, то задохнусь. И чтобы сбросить это одеяло, нужно было отшвырнуть все прошлое.

Конечно, будь у меня братья и сестры или другие родственники, я была бы лишена выбора. Я бы стала семейным уродом, и вряд ли мне захотелось бы жить дальше. А так – я просто девочка, которой для жизни нужно инвалидное кресло. Я не калека, не инвалид, я обыкновенный человек. И могу себя полностью обслуживать. Меня окружают замечательные люди, и они воспринимают меня совершенно нормально.

Но долгое время я чувствовала себя очень одинокой, а твои письма все изменили. Они раскрасили мою жизнь новыми красками.

И вот я подхожу к самому трудному. Я не хочу называть тебе место, где я живу, потому что... (знаешь, я недавно наблюдала, как по нашему саду шли мальчик и девочка, примерно нашего возраста; они шли, обнявшись, по направлению к лесу), и именно поэтому я не хочу посылать тебе свою фотографию. (Начну с того, что у меня просто нет фотографии, хотя главная причина не в этом.) И дело не в том, что я безобразно искалечена, – на мне, кстати, нет ни одного шрама.

Не хочу, потому что на фотографии я была бы в инвалидной коляске, а мне не хочется, чтобы ты видел меня такой. Боюсь, ты станешь меня жалеть. Я очень надеюсь на твое понимание, однако – я понимаю, что это нечестно, – мне бы очень хотелось иметь твою фотографию (и твоих родителей, и твоего дома,

если, конечно, ты не против). А взамен я попытаюсь честно ответить тебе на все вопросы о том, как я выгляжу.

Если вдруг случится чудо и я опять встану на ноги, я обязательно пришлю тебе свою фотографию. Но до тех пор я хочу остаться твоим незримым другом.

С любовью,

Алиса

P. S. Я понимаю, что это нескромно. Но вдруг ты подумаешь, что я вешу сто килограммов или вся в прыщах? На самом деле я худенькая и совсем не страшная.

P. P. S. Кстати, если уж быть честной до конца – ну, насчет того, что я не хочу присылать тебе фотографию, – мне хотелось бы, чтобы ты сам нарисовал в своем воображении мой образ.

Тема фотографии была крайне болезненной и для меня: мысль о том, что Алиса увидит мои торчащие уши и окованные скобками зубы, приводила меня в ужас.

Поэтому я поспешил заверить Алису, что мне понятны ее доводы (это было верно лишь отчасти) и что я сам терпеть не могу фотографироваться, а посему предложил ограничиться словесными портретами (при этом я надеялся, что она не станет задавать провокационные вопросы насчет моих ушей, волос, прыщей, бородавок, коленей, зубов и прочих атрибутов).

Я часто ловил себя на мысли о том, что далек от жалости к Алисе и даже забываю об ее инвалидности и сиротстве. Меня почему-то все время мучил контраст между красотой мест, ее окружавших, и унылым пейзажем моей родины, и я страстно мечтал оказаться в таком далеком и манящем Суссексе. Ее письма заставляли меня забыть о том, что она калека; Алиса представлялась мне молодой принцессой, которая живет в собственном поместье, у нее целый штат прислуги, в хорошую погоду ее выводят на прогулку. Разумеется, в доме прекрасная библиотека, потому что о какой бы книге ни зашла речь, оказывалось, Алиса ее уже читала. К тому же в чем-то наши ситуации были

схожи. У моих родителей никогда не было телевизора, они не читали журналов, а местную газету покупали только по воскресеньям и то лишь ради рекламных объявлений. Их совершенно не интересовала политика, как и новости за пределами Мосона. Иногда мать слушала по радио классическую музыку. Но чаще и она, и я молча читали книги.

Примерно так же проводила время и Алиса: если не занималась уроками и не гуляла в саду, она читала или смотрела в окно. В свои четырнадцать лет она явно духовно переросла своих сверстников, в то время как я еще не дотянулся до них. Незадолго до нашей встречи – она предпочитала именно это слово – я пытался разжечь в себе интерес к року. Но, узнав, что Алиса совершенно равнодушна к поп-музыке – она писала, что после тяжелого рока у нее болит голова, как будто она выпила слишком много кофе, – я оставил эти попытки. Я вообще перестал подражать кому бы то ни было. Вместо того чтобы понуро слоняться по школьному двору, держась подальше от школьных забияк, я проводил обеденные перерывы в библиотеке и делал там уроки, чтобы освободить вечер для писем к Алисе. Постепенно я стал замечать, что меня стали реже задирать одноклассники, а успеваемость заметно улучшилась.

Моя жизнь вне дома была резко ограничена – почти как у Алисы. Меня держал на привязи патологический страх матери за мою безопасность, так что моими маршрутами по-прежнему оставались дорога в школу (и на почту) и обратно. Но теперь, когда у меня была Алиса, я не чувствовал эту ограниченность и часто ловил себя на том, что, глядя из окна, вижу не ржавую крышу гаража господина Друковича, нашего соседа, а пейзажи Стейплфилда.

Разумеется, со временем я захотел большего, гораздо большего: видеть Алису, слышать ее голос, держать ее за руку. Я написал ей, что каждый день молю Бога (хотя не могу сказать, что действительно верую) о том, чтобы ее позвоночник восстановился или чтобы доктора нашли наконец лекарство. «Мне это очень приятно, – отвечала она, – однако я не должна думать об этом. Врачи сказали, что я никогда не смогу ходить, и я уже смирилась». Но я втайне продолжал молиться. Я с радостью потратил бы все свои сбережения на короткий телефонный звонок, но Алиса не разрешала и этого. Она не поощряла – во всяком случае, поначалу – каких бы то ни было проявлений любви и нежности с моей стороны, разве что не возражала против слов «Дорогая Алиса» или «С любовью, Джерард», но тем не менее в каждом письме напоминала, что я для нее самый близкий и дорогой человек.

Между тем она сдержала свое обещание честно отвечать на все мои вопросы по поводу внешности, хотя, как Алиса призналась, они смущали ее. Она написала, что волосы у нее длинные, вьющиеся («кудряшки», иными словами), густые, а цвет «рыжевато-каштаново-коричневый». Еще я узнал, что у нее светлая кожа, темные карие глаза, а нос «довольно прямой, но кажется немного вздернутым». И поскольку я сам не осмелился бы спросить, она добавила, что ноги у нее длинные, а талия узкая. «Думаю, можно сказать, что я хорошо сложена для своих лет, но ты уже порядком смутил меня, я чувствую, как горят мои щеки. Для одного письма достаточно, больше я ничего не скажу».

Словом, она выглядела как богиня. Богиня, которая носила в основном джинсы и футболки, но иногда надевала длинные платья («вот как сегодня, когда на мне белое муслиновое, схваченное на талии, с мелкими пурпурными цветочками, вышитыми на лифе»). Для меня она была сказочно красива, но по ее письмам я понял, насколько трудно нарисовать словесный портрет человека. Образ Алисы, который я создал в своем воображении, был болезненно хрупким и расплывчатым.

Однажды в школьной библиотеке я нашел книгу с репродукциями, в основном черно-белыми, но среди них попадались и цветные. Книга была новой, и женщины на портретах еще не успели обрести бороды, усы, гигантские груди и смачные гениталии, раскрашенные цветными фломастерами, – хотя книги по искусству не выдавали на руки, это все равно не спасало их от варварского творчества учеников. Я перевернул страницу, и мне открылся портрет леди Шалотт. Он словно заморозил меня. Это определенно была моя Алиса.

До звонка я успел изучить творчество прерафаэлитов и открыл для себя еще с десяток Алис. Она оказалась идеальной моделью для художников той поры, но не всем удалось талантливо написать ее портрет. Данте Габриел Россетти удачно изобразил волосы, но сделал ей злой рот. Эдуард Берн-Джонс прекрасно выписал лицо, но у него вышла промашка с волосами, и к тому же на его картине она, обнаженная, появлялась из-за дерева, причем, что было совершенно непонятно, в объятиях обнаженного юноши. Я лишь мельком взглянул на репродукцию и тут же перевернул страницу, опасаясь, что меня застучает библиотекарьша, госпожа Макензи. «Подружка невесты» Джона Эверетта Милле казалась близкой к оригиналу, но я все-таки вернулся к портрету леди Шалотт, отмечая про себя, что, не будь в ней столько трагизма, она, пожалуй, была бы точной копией Алисы.

В тот же вечер я написал Алисе о своем открытии, и, когда наконец от нее пришел ответ, выяснилось, что она знает эту картину и тоже находит некоторое сходство между собой и леди Шалотт, разве что волосы у нее чуть темнее, да и в красоте она уступает леди с портрета; впрочем, я чувствовал, что насчет последнего Алиса явно скромничает. Я потратил почти все свои сбережения на книгу с репродукциями – мне удалось незаметно притащить ее домой из главного супермаркета Мосона, куда я наведывался крайне редко. Тема секса была не просто табу в нашем доме – мы всегда жили с полным ощущением того, что в мире вообще не существует ничего подобного: при полном отсутствии телевидения и журналов это было неудивительно. И хотя обнаженные нимфы в книге с репродукциями были все-таки Искусством, я не сомневался в том, что моя мать отнесется к ним с предубеждением.

А потом я увидел сон. Это было в конце лета. Прошло уже два года, как мы начали переписываться. Я проснулся – или мне так показалось – в своей постели. Все было совсем как всегда, если не считать, что в окно светила полная луна. Странная луна – свет ее был мягким и золотым, словно сияние свечи, я даже ощущал его тепло на своей щеке. Такое могло быть только во сне, потому что на самом деле луна никак не могла заглянуть ко мне в комнату, окна которой выходили на гараж господина Друковича. Но во сне все казалось естественным и нормальным. Я лежал, нежась в жарком сиянии луны, и вдруг осознал, что тепло, разливавшееся по всему моему телу, исходило вовсе не от небесного светила.

Я повернул голову. Рядом лежала Алиса. Она улыбалась мне самой обворожительной улыбкой, в которой смешались искренняя радость, нежность и любовь. Ее голова была совсем близко, в лунном свете каштановые волосы отливали бронзой, наши тела не соприкасались, и я просто лежал, наслаждаясь близостью. Алиса была совсем не похожа ни на леди Шалотт, ни на других женщин с портретов; она была просто Алиса, и, когда наши губы встретились, тепло ее тела перешло ко мне, а потом я проснулся в мокрой пижаме, один, под неоновым сиянием фонаря над гаражом господина Друковича. Был второй час ночи.

Раньше, когда мне приходилось при свете фонарика спешно застирывать пижамные штаны и простыни, я дрожал от стыда и ужаса перед матерью, которая наверняка что-нибудь скажет утром, если заметит характерные пятна. Но в ту ночь я проделывал эту рутинную процедуру как-то рассеянно, думая

только о том, чтобы поскорее вернуться в свой сон и оказаться рядом с Алисой.

Однако сон не шел. Я долго ворочался, пытаюсь вернуть ее образ, но перед глазамиплыли лишь чужие женские лица с репродукций. Наконец, отчаявшись, я уткнулся в подушку и заплакал.

Забывшись на время, я опять увидел сон. На этот раз я был в нем совсем малышом, которому мать читает перед сном. Мать была в длинном пеньюаре, она читала книгу без картинок, и я ничего не понимал, но все равно внимательно слушал, впитывая интонации ее голоса. При этом другой я, уже взрослый, наблюдал эту сцену как бы со стороны. Вдруг я увидел, что мать плачет. Слезы текли по ее щекам и падали на мою бледно-голубую пижаму, но мать даже не пыталась смахнуть их, она все читала и читала, а слезы все капали, пока я не проснулся, обнаружив, что моя подушка насквозь пропитана влагой слез, пролитых по Алисе.

В субботу утром, как раз после того сна, я оказался дома один. Отец встречался со своими любителями игрушечных поездов, а мать спешно собиралась в парикмахерскую. Я вышел в холл как раз в тот момент, когда она, уходя, захлопнула за собой входную дверь, и увидел, что, как ни странно, ее спальня не заперта. Когда я подошел ближе, мой взгляд невольно упал на злополучный ящик туалетного столика, который я пытался открыть в тот жаркий январский день.

Негласный договор с матерью не позволял мне с тех пор приближаться к ее комнате. Мы молча соблюдали святое правило не вмешиваться в тайны друг друга. Но дверь была открыта, а Алису так интересовало все, что было связано со Стейплфилдом и Виолой, чью фотографию я когда-то нашел.

Ящик был по-прежнему заперт, а медный ключик так и не обнаружился ни в одном из очевидных для меня мест. Вдруг я вспомнил, что бородка ключа – или как там она называется – представляет собой не более чем простую металлическую пластинку с прорезью, и принялся искать по дому подходящие ключи, вытаскивая их из всех шкафчиков. Мне повезло, я нашел тот, которому замок поддался.

Раздался характерный щелчок. Стоя на коленях в полумраке спальни, вдыхая запахи нафталиновых шариков, инсектицида, слабый псиный дух, исходивший

от ковра, я вдруг увидел свое отражение в зеркальце, стоявшем на столике. «Джерард так похож на свою мать».

И конверт, и фотография исчезли. В ящике осталась лишь книга в потертой серой обложке из бумаги, усеянной рыжевато-бурыми пятнами. «Хамелеон». Я все еще не знал, что такое хамелеон, но это слово уже слышал. «Литературно-художественное обозрение». Том 1, часть 2, июнь 1898 года. Издание Фредерика Равенскрофта. Эссе Ричарда Ле Гальенна и Дж. С. Стрита. Стихотворения Виктора Пларра, Олива Кастанса и Теодора Вратислау. Я попытался открыть книгу и обнаружил, что страницы остались неразрезанными. За исключением единственного произведения: «Серафина. Сказка». Автор В. Х.







Я прочитал рассказ на одном дыхании, словно в угаре, и, вернув «Хамелеон» на место, поспешил в свою комнату, чтобы тут же рассказать Алисе о своей находке. Но как-то так получилось, что письмо осталось неотправленным. Серафина до боли напоминала мне ту Алису, которая явилась ко мне во сне, и в каждой написанной мною строчке сквозил легкий упрек – но в чем, я и сам не мог понять, – так что я все тянул с отправкой письма. А потом стало и вовсе невозможно объяснить, почему я сразу не рассказал о прочитанном.

В то утро я встал рано и написал Алисе обо всем, что мог вспомнить из своего сна (разумеется, опустив подробности об испачканной пижаме), и добавил, что люблю ее, обожаю и живу только надеждой на встречу, которая будет возможна, как только я смогу заработать на билет и убедить родителей отпустить меня. И когда спустя две недели я разорвал ожидавший меня конверт и увидел написанное ее рукой: «Мой милый Джерард», мне показалось, что удача на моей стороне.

Мой милый Джерард!

Твой сон был чудесным, и я так рада, что ты рассказал мне о нем. Я даже не могу выразить словами, насколько я счастлива от твоего письма, как много оно значит для меня. Но прежде скажу главное: да, я тоже люблю тебя, и это правда. Я думаю о тебе, вижу тебя во сне – знаешь, ты ведь мне тоже снился, только это было чуть раньше, но я постеснялась рассказать об этом. Теперь сделаю это обязательно, но сначала...

Со мной всегда такое происходит, стоит мне подойти к самому трудному. Вот и сейчас я все смотрю в окно, наблюдаю за тем, как тает последний снег на полях у подножия холмов, как раз там, где стояла бы та беседка – ну, как если бы все это происходило в Стейплфилде. Сегодня какое-то особенное утро – голубое небо, яркое солнце, над мокрой травой висит легкая дымка, и я слышу, как мычат коровы – как-то мирно и по-домашнему, – у них, как мне кажется, такие выразительные глаза...

Джерард, ты забываешь о том, что я никогда не смогу ходить. Я ни на мгновение не сомневаюсь в твоей любви ко мне, но.... вот скачет на лошади девушка, на ней такой красивый жокейский костюм, отлично скроенный, в желтовато-коричневых и кремовых тонах, она действительно великолепно смотрится, и это как раз подводит меня к тому главному, что я никак не осмелюсь сказать...

Рано или поздно ты встретишь – ну, я имею в виду, полюбишь – девушку, которая может ходить, бегать, плавать, танцевать с тобой, – и не исключено, что таких девушек у тебя будет много. Я знаю, ты так не думаешь, ты веришь, что всегда будешь любить только меня, но мы должны оставаться реалистами. Господи, как же ненавистны все эти слова...

Будь я посмелее, я бы постаралась притвориться, будто ты мне безразличен, и тогда тебе было бы легче. Но я не такая. Я действительно люблю тебя, Джерард, и знаю, что сойду с ума от ревности, если ты влюбишься в кого-то еще. Я бы даже предпочла не знать об этом – видишь, я уже заранее готовлю себя к худшему, потому что не хочу, чтобы наша переписка прекратилась. Ведь если я узнаю, что ты полюбил другую, я перестану писать тебе из ревности. Ну вот, получается, что я призываю тебя лгать мне, но это совсем не так...

Попытаюсь объяснить еще раз. Если бы мы встретились, ты бы увидел перед собой девушку в инвалидной коляске, калеку, паралитика. В общем, жалкое создание. Сейчас ты представляешь меня другой, но, увидев воочию, испытал бы совсем иные чувства. Не жалости боюсь я больше всего. Но твоего разочарования. Мы бы встретились, а потом навсегда расстались. Я этого не вынесу.

Знаешь, что происходит с леди Шалотт в поэме? Она живет одна в своей башне, плетет волшебную цветную паутину. Но у нее есть волшебное зеркало, которое показывает ей дорогу на Камелот, перед ее глазами проходят рыцари, молодые дамы, влюбленные, и вот однажды она видит скачущего на коне Ланселота,

красивейшего из рыцарей, и влюбляется в него. Волшебное зеркало трескается, паутина рвется, она садится в лодку и плывет по реке в Камелот, и поет, пока смерть не уносит ее.

Может быть, мое окно как раз и есть то самое волшебное зеркало. Просто я иногда думаю, что, если довольствоваться тем, что есть, можно сохранить это навечно. Ты, наверное, скажешь – во всяком случае, подумаешь, – что я трусиха, и, видимо, так оно и есть. Но, прошу тебя, постарайся понять и продолжай любить меня на расстоянии.

А вот теперь я расскажу тебе мой сон. Это было после обеда, я почувствовала усталость и прилегла. И мне приснилось, что я проснулась и смогла пошевелить ногами – знаешь, мне это часто снится, а ты лежал рядом со мной, такой красивый – пожалуй, иного слова и не подберешь, – и был так рад видеть меня. Потом мы начали целоваться, и вдруг до меня дошло, что мы оба без одежды. Вот почему я постеснялась рассказать тебе сразу, но во сне я не испытывала никакой стыдливости, все казалось совершенно естественным. И это было так чудесно, что, проснувшись, я долго плакала оттого, что тебя нет рядом.

Очень надеюсь, что ты поймешь. Я навсегда останусь твоей незримой возлюбленной.

Алиса

P. S. Может быть, мой сон был в тот же день, что и твой, только я увидела его днем, а ты ночью. Удивительно, правда?

А через две недели пришло следующее:

...Как глупо, что я не сразу сообразила, просто очень волновалась, пока писала то письмо. Так вот, это был вторник, третьего марта, когда мне приснился мой сон – наш сон, – и, конечно, ты прав насчет разницы во времени. Когда у меня три часа пополудни – у тебя как раз половина второго ночи следующего дня. Надо же, какое волшебное совпадение. Я всей душой с тобой.

Твоя возлюбленная

Алиса

Поначалу я думал, она просто ждет, чтобы я переубедил ее. В самом деле, при чем здесь инвалидная коляска, если мы будем лежать рядом, как это уже было во сне? Она просто должна знать, что я безумно люблю ее. Но в ответ на свои пылкие признания я неизменно встречал ее нежные и милые возражения. Она писала, что мы оба равны и свободны в своих чувствах, но если я люблю девушку-инвалида, то ни о каком равенстве не может быть и речи; и если я разлюблю ее, то останусь, возможно, только из чувства долга. Ну и тому подобное.

Но в своих мечтах и фантазиях я никогда не оставлял Алису в инвалидном кресле. Наше свидание могло произойти на пороге ее комнаты; или же я являлся к ней через сад, поднимался по ступенькам и заходил в распахнутые дубовые двери. Вокруг не было ни души: дом неизменно встречал меня напряженной тишиной. Гулкое эхо моих шагов разносилось по пустынному холлу, пока я шел к лестнице, поднимался вверх, в ее комнату, двери которой тоже всегда были открыты к моему приезду. Я заставал ее сидящей за столом – старым, из красного кедра, цвет которого удивительным образом совпадал с цветом ее волос, – прямо перед ней на зеленом кожаном коврик стояла пишущая машинка. В белом длинном платье с вышитыми на нем пурпурными цветами, подпирая рукой подбородок, она задумчиво смотрела в окно и была настолько поглощена своими мыслями, что не сразу замечала, как я появлялся в дверном проеме. А потом она отъезжала от стола в своем инвалидном кресле, оборачивалась ко мне с той очаровательной улыбкой, которую я так часто и безуспешно пытался воскресить в памяти, и грациозно, без всяких усилий поднималась на ноги... и очень скоро, если моим фантазиям никто не мешал, мы оказывались в объятиях друг друга на белоснежных простынях ее постели, и наши тела сплетались в порыве страсти, уводящей к неизбежному сладостному финалу.

Я перепробовал все, даже шантаж. Неужели, поддразнивал я ее, ты не желаешь видеть меня, обнимать и целовать наяву, а не только во сне? Да, конечно, она хотела, но тогда бы мы оказались не на равных, не свободны в своих чувствах... и она ловко уводила разговор в сторону, спрашивая, насколько реальны мои ощущения, или мне только во сне является наша близость?

К тому времени, как мне исполнилось семнадцать, она освоила технику сновидения: первым шагом было научиться ощущать во сне свои руки и производить простейшие движения вроде хлопков в ладоши и прикосновений к лицу, а потом нужно было постепенно развивать в себе умение осознанно двигаться во сне и даже летать. Она уверяла, что это сродни астральному путешествию, разве что не нужно было заставлять себя верить во всякого рода заумь, речь шла лишь о том, чтобы перед сном тренировать свой мозг, и потом это воплотится уже в настоящем сне. Вскоре в ее снах, в которых она видела себя здоровой и раскованной, мы предавались самой буйной страсти, в то время как я все тренировался, и без толку.

Техника сновидения действительно оказалась мне не по зубам. Но я преуспел в другом. Ее сны я использовал как сценарий своих сексуальных фантазий в отношении прерафаэлитской богини, в которой мне виделась Алиса. Я не помнил ее лица, ведь она явилась мне лишь однажды, той волшебной ночью. А тем временем я притворялся, будто научился, как и она, управлять своими снами, беспомощно копировал ее письма, с их недосказанностью, нежностью, эротизмом. К своему глубокому стыду, мне самому приходили на ум лишь хорошо знакомые слова, которыми были исписаны стены в школьных туалетах, но они, конечно, выражали лишь животную грубость, в то время как язык Алисы взывал к возвышенному и чувственному.

И она верила в то, что мы едины в этом чистом порыве. Мысль о том, чтобы потерять ее доверие, была невыносима, и в то же время я знал, что более не заслуживаю его. Раньше письма давались мне легко, строчки свободно ложились на бумагу. Теперь они рождались в муках: я нервно перечитывал написанное, рвал целые страницы, чего прежде никогда не делал, и все чаще мысли мои оказывались пустыми, словно белый лист бумаги, лежащий передо мной. И очень скоро она это заметила.

Я чувствую, что-то не так, твои письма стали короче, и мне кажется – не знаю, как и сказать, немного напыщенными? – во всяком случае, что-то в них изменилось. Пожалуйста, скажи, в чем дело. Мне горько думать о том, что ты можешь скрывать что-либо от меня – пусть даже то, что ты меня разлюбил. Я говорю правду. Верь мне. Я буду вечно любить тебя.

Твоя возлюбленная

Алиса

Я все мучился, рвал один ответ за другим, а время беспощадно уплывало, и оставалось лишь рассказать правду, хотя бы ту ее часть, которой я не так стыдился.

И вот я признался в том, что мои сны – вовсе не результат каких-то манипуляций, ведь мне так и не удалось освоить технику сновидения, – на самом деле они не что иное, как дневные фантазии. Но ведь они подтверждают то, что я люблю ее, отчаянно, безумно, безгранично. Я объяснил ей, что не буду счастлив до тех пор, пока не окажусь рядом с ней, и если она не примет решения порвать со мной – чего я, конечно, заслуживал, – пусть хотя бы скажет, что однажды мы сможем быть вместе, и я готов ждать этого дня сколь угодно долго. Мои сумбурные мысли излились на нескольких страницах письма, которое я в каком-то нервном порыве поспешил бросить в почтовый ящик, после чего понуро поплелся домой, словно узник в постылую тюремную камеру.

В последующие две недели я в полной мере познал, что такое душевные муки. Лицо мое было искажено страданием; я едва мог говорить. Аппетит пропал, язык болтался во рту, словно инородное тело, а в животе чувствовалась тошнотворная пустота. Мать умоляла сказать ей, что со мной происходит. Моя классная руководительница названивала родителям; был приглашен и семейный доктор; но все их заботы я отражал подростковым безучастным «ничего не случилось», между тем лихорадочно соображая, сколько таблеток аспирина нужно проглотить, чтобы тихо и безболезненно умереть, или какого газа надышаться, чтобы принять смерть раньше, чем подступит рвота. Письма от Алисы по-прежнему приходили, и в предпоследнем она с тревогой спрашивала, не болен ли я, не страдаю ли, и опять уверяла в том, что будет любить меня, что бы ни случилось. Не в силах написать ни строчки, я по несколько раз перечитывал ее письма, с ужасом ожидая, когда же она пришлет прощальное.

Когда наконец письмо пришло, я час собирался с духом, прежде чем вскрыть конверт.

Мой милый Джерард!

Я так виновата перед тобой, я оказалась бесчувственной эгоисткой, замкнувшейся в собственном счастье, – счастье, которое подарил мне ты, мне следовало раньше это понять. Какой же ты смелый, что решился рассказать мне обо всем, я бы так же поступила, окажись я на твоём месте. Сможешь ли ты простить меня?

И, знаешь, я тоже не была до конца честной, потому что не всегда ты являлся ко мне во сне. Я имею в виду, когда мы занимались любовью. Я боялась, что тебя шокирует мое признание. Я ведь такая трусиха. Мне следовало доверять тебе так же, как ты доверяешь мне.

Но теперь, по крайней мере, никому из нас не нужно стыдиться желания заниматься любовью. В прошлый раз я была искренна, когда говорила, что между нами не может быть ничего стыдного, и чтобы доказать тебе это... теперь каждый день в половине второго я ложусь, закрываю глаза и представляю, что я сплю, и во сне мы занимаемся любовью. И если тебе захочется сделать то же самое в какой-то определенный день и час, тогда заранее предупреди меня об этом, и тогда я мысленно присоединюсь к тебе.

И потом... разве расстояние имеет значение, если я буду совсем рядом, в твоих мечтах, в биении твоего сердца?

Твоя незримая (но страстная) возлюбленная

Алиса

И так мы стали любовниками, как бы нелепо это ни прозвучало. Она учила меня не стыдиться пылкой страсти, которой мы предавались в письмах, но я жил в постоянном страхе, с ужасом представляя, что мать прочитает хотя бы строчку из нашей переписки, пока не узнал, что всего за несколько долларов в год можно арендовать на почте абонентский ящик с собственным ключом. Постепенно, тактично и нежно Алиса раскрыла передо мной свое тело – тело, которое я никогда не видел, рассказав, что ей нравится, что она любит, а что приводит ее в полный восторг. И все-таки иногда, лежа в постели, мучаясь от бессонницы, я ловил себя на том, что мне она кажется еще более далекой. Несмотря на мои мольбы, она твердо стояла на своем: пока она не излечится – по крайней мере, в ее письмах стало проскальзывать это обнадеживающее «пока», – наша встреча невозможна. Я не мог с этим смириться, отказывался

понимать, но все-таки вынужден был признать, что мои уговоры лишь огорчают ее. Я перестал настаивать, решив держать свои планы при себе. Как только мне удастся накопить денег на билет, я тут же полечу в Англию; я обшарю весь Суссекс, пока не отыщу ее. Правда, в самых мрачных фантазиях мне виделось, как меня встречают строгим приговором: «Мисс Джессел не желает вас видеть». Но я упорно продолжал откладывать центы на авиабилет, мысленно взывая к Богу, чтобы тот не дал мне умереть, прежде чем я увижусь с Алисой Джессел.

Ближе к концу третьего курса колледжа Мосонского университета я занялся оформлением своего паспорта. Я по-прежнему жил дома с матерью и все так же пополнял свой банковский счет жалкими центами, которые удавалось урвать от жалованья, получаемого в библиотеке колледжа, но на билет до Англии катастрофически недоставало тысячи долларов.

Вот уже семь лет мы с матерью делали вид, будто письма Алисы так же иллюзорны, как и она сама. Поначалу я, возвращаясь из школы и обнаруживая на столике в своей спальне письмо, старательно изучал конверт, пытаюсь обнаружить на нем следы вскрытия. (Я читал, что письма можно вскрывать над паром, хотя на практике с этим не сталкивался.) Но конверты неизменно оказывались нетронутыми. Я понимал, что причиняю матери боль, и, если бы она хоть раз нарушила обет молчания в отношении Стейплфилда, я бы страдал еще больше от того, что поступаю с ней так же несправедливо, как когда-то она поступила со мной. Ее нервы расшатались до предела, и это еще задолго до внезапной смерти отца. С наступлением темноты она панически боялась оставаться одна. Даже сейчас, стоило мне задержаться хотя бы на полчаса после вечернего дежурства в библиотеке, я заставлял ее дома возле телефона, в полной готовности обзванивать больницы.

Без писем Алисы жизнь дома была бы невыносимой, но, если бы не Алиса, я бы и не жил там. Да и вообще в Мосоне. Мои оценки были достаточно высокими, чтобы я мог рассчитывать на место в одном из престижных университетов на Восточном побережье, но тогда – даже если не брать в расчет патологический страх матери за меня – я бы не смог откладывать деньги на поездку в Англию. Даже при том, что мне была гарантирована именная стипендия от Фонда Грейс Левенсон и перспектива получить через год работу в Англии.

Алиса была рада тому, что я не оставил мать. Еще в начале нашей переписки мы с Алисой поклялись ни при каких обстоятельствах не выдавать никому наших секретов и не позволять кому бы то ни было читать наши письма. Кроме

почтальона, никто из посторонних даже не знал о существовании Алисы. Теперь у нее были фотографии моих родителей, нашего дома и окрестностей, а в последнее время появились и мои фотографии, так что Алиса имела полное представление о том, как протекают мои серые будни; впрочем, она уверяла, что ей интересна моя жизнь в мельчайших подробностях. Что ее беспокоило, так это напряженность в моих отношениях с матерью, и, будучи проницательной, она чувствовала, что отчасти сама является причиной этого. В то же время ей были понятны мои опасения: ведь стоило мне приоткрыть завесу тайны, и мать своими настойчивыми расспросами спровоцировала бы очередную ссору. «Я знаю, что это тяжело, – написала недавно Алиса, – но ты должен дорожить ею, Джерард. Только когда она уйдет из жизни, ты сможешь понять, как она дорога тебе. Я хочу лишь одного: чтобы она не видела во мне угрозы, ведь я не стремлюсь разлучить вас».

Алиса была абсолютно искренна в этом, поскольку пребывала в твердом убеждении, что, если только не чудо ее исцеления, мы никогда не встретимся. Но у меня были другие планы.

Только приступив к сбору документов для оформления паспорта, я впервые увидел оригинал моего свидетельства о рождении. Краткая выписка, которой я до сих пор пользовался, не содержала никаких сведений о матери, кроме того, что в девичестве она носила фамилию Хадерли. Теперь же я узнал, что Филлис Мэй Хадерли родилась 13 апреля 1929 года в Лондоне, по адресу: Портман-сквер, Марилебон. Отец Джордж Руперт Хадерли, род занятий – джентльмен; мать Мюриель Селия Хадерли, урожденная Уилсон.

Не знаю, почему это открытие обернулось для меня шоком. Мать ведь никогда не говорила — по крайней мере, я не помнил, – что она родилась в Стейплфилде, на поиски которого во всевозможных атласах и справочниках я потратил долгие годы, и, как мне казалось, не совсем напрасно. В дорожном атласе Британии издательства «Коллинз» я отыскал крохотную деревушку с названием Стейплфилд – на южной окраине лесного массива Сейнт-Леонард в Западном Суссексе. Просто черная точка на желтой линии второстепенной дороги под номером B2114, но местечко выглядело вполне правдоподобно, хотя даже богатое воображение не позволяло представить, что отсюда можно увидеть корабли в Портсмутской гавани, находившейся в пятидесяти милях к юго-западу. Как полагала Алиса, большой загородный дом вполне мог носить название близлежащей деревни. Но ведь я никогда не спрашивал у матери о том, где находится Стейплфилд, да и вообще не задавал вопросов о ее жизни до

Мосона. Почему я всегда верил, что ее родители умерли, когда она была совсем маленькой? Действительно ли она говорила мне об этом или я это просто придумал? Почему, в конце концов, я так долго мирился с ее молчанием? Разве я не имел права знать свою историю?

В тот вечер, когда мы после ужина сидели в гостиной, я вручил ей заветный документ. Она лишь мельком взглянула на него и тут же отшвырнула.

- Зачем тебе это понадобилось? - В ее голосе зазвучали зловещие нотки.

- Я оформляю паспорт.

- Зачем?

- Я собираюсь ехать в Англию. Как только накоплю денег.

Взгляд матери был устремлен на газовый обогреватель, который теперь заменял нам камин. Я не мог разглядеть ее лица за оказавшейся между нами лампой, но свет падал на ее руки, которые стали совсем как у госпожи Нунан - со скрюченными пальцами и набухшими суставами, усыпанные старческими пигментными пятнами, с синеватыми ногтями.

- Чтобы там остаться... - произнесла она наконец.

- Еще не знаю, мама. Но если я останусь, то хочу, чтобы ты тоже переехала туда.

- Я не могу себе этого позволить.

- Я бы помог.

- Я бы не приняла твоей помощи. Как бы то ни было, я бы не вынесла тамошних зим.

- Но ты ведь терпеть не можешь жару, мама.

- Холод еще хуже.

Она механически произносила слова, словно сама себя не слышала.

– Мама, я не хотел тебя расстраивать. Но пришло время поговорить... еще раз. О твоей семье. Потому что это и моя семья.

Повисло тягостное молчание, и, не в силах терпеть его дольше, я первым нарушил его.

– Мама, ты слышала, что я...

– Я слышала.

– Тогда скажи мне... – Я запнулся, не зная, о чем спросить. – Я... послушай, я до сих пор помню все, что ты мне рассказывала, когда я был... ну, до того, как я... ты рассказывала про Стейплфилд, про свою бабушку, и я хочу знать... почему ты перестала говорить об этом, почему я ничего не знаю... – Я услышал, как дрожит мой голос.

– Больше нечего рассказывать, – произнесла она после долгой паузы.

– Но как же так? А твои родители? Что с ними случилось?

– Они оба умерли... когда мне было всего несколько месяцев. Я их совсем не помню.

Ее руки свесились с подлокотников кресла.

– И ты жила со своей бабушкой... Виолой... она была твоего отца... или матери?..

– Она была бабушкой по отцовской линии. Я рассказала тебе все, что помнила, когда ты был маленьким.

– Но почему ты перестала рассказывать после того, как я... это все из-за ее фотографии, которую я нашел в тот день?

– Я не помню никакой фотографии.

С каждой фразой ее голос становился все более тусклым и безжизненным.

- Ты должна помнить, мама. Ты была в такой ярости. Из-за фотографии, с которой ты меня застукала в твоей спальне...

- Ты постоянно шуровал в моей спальне, Джерард.

Ты же не думаешь, что я помню каждую мелочь?

- Но... но... - Мне до сих пор не верилось в происходящее. - После того дня ты ни разу не упоминала о Стейплфилде...

- Я помню только то, Джерард, что, став старше, ты перестал спрашивать. И хорошо. Нельзя жить прошлым.

- Да, но почему ты перестала говорить об этом?

- Потому что ничего не осталось, - огрызнулась она. - Там... был пожар. После того, как мы уехали. Во время войны. Дом сгорел дотла.

- Ты никогда мне этого не говорила!

- Да... Я не хотела разочаровывать тебя. Вот почему я перестала рассказывать об этом.

- Жаль, что ты так решила, мама. Все эти годы я надеялся... надеялся... - Я был не в силах продолжать.

- Джерард, ты ведь не думал, что дом был нашей собственностью?

- Нет, конечно нет. Я просто хотел увидеть его.

Но разумеется, я думал о Стейплфилде как о своем доме, хотя и не признавался себе в этом. Неизвестный наследник, затерянный в далеком Мосоне, в ожидании, когда семейные адвокаты позовут его домой. Нелепо, абсурдно. В глазах щипало от подступивших слез.

– Прости, Джерард. Я поступила дурно. Мне вообще не следовало упоминать об этом доме.

– Нет, мама. Тебе, наоборот, нужно было рассказать как можно больше. Почему вы уехали? В чем была причина пожара?

– Это была бомба. Мы... я была в школе. В Девоне.

Нас эвакуировали от бомбежек.

В какой-то момент мне показалось, что она растрогана воспоминаниями. Но вот в ее голосе опять появилось некоторое отчуждение.

– А Виола?

– Она опекала меня. Пока не умерла. Вскоре после войны. Тогда мне пришлось идти работать.

– Но ведь у вас был большой дом, с прислугой. Разве он не был застрахован? И неужели Виола ничего не оставила тебе?

Еще одна долгая пауза.

– Все ушло на похороны. Осталось немного денег, которых едва хватило, чтобы оплатить мои курсы машинописи. Она сделала для меня все, что смогла. И это все.

– Мама, это не все, и ты это знаешь. А «Серафина»?

– Я не понимаю, о чем ты говоришь.

– Рассказ, написанный Виолой. Он лежал в том же ящике, что и фотография.

– Я не помню никакого рассказа.

Я уже готов был возразить, но понял, что настаивать бессмысленно.

- Почему ты не хочешь говорить о своем прошлом?

- Наверное, по той же причине, по которой ты никогда не рассказываешь о своей подруге. Мое прошлое никого не касается. Даже тебя.

Впервые за семь лет мать признала факт существования Алисы.

- Нет, это совсем другое. Алиса... она не имеет к тебе никакого отношения...

- Она уводит тебя от меня.

- Это несправедливо! Как бы то ни было, мне уже почти двадцать один год, в этом возрасте люди уходят из дома, женятся...

- Так ты женишься? Что ж, спасибо, что сказал...

- Я этого не говорил!

- Так ты женишься или нет?

- Я еще не знаю!

Мы оба почти кричали.

- Я не хотел бы говорить о ней, мама, - произнес я, несколько успокоившись.

- Но ты ведь собираешься ехать к ней.

- Я... я просто не хочу говорить о ней.

- Джерард, - сурово произнесла она после затянувшейся паузы, - я знаю, ты думаешь, будто я ревную. Ревнивая мать, которая не отпускает сына. Что бы я ни сказала, это ничего не изменит. Только помни: я пыталась спасти тебя.

- Спасти от чего, мама?

Но она лишь произнесла: «Я иду спать».

- Тогда скажи мне одну вещь, - не унимался я, - и больше я ни о чем не спрошу тебя. Где находился Стейплфилд? Дом, я имею в виду. Он был в деревне Стейплфилд?

Скрипнуло ее кресло. Она поднялась и тяжелой походкой двинулась к двери. Я думал, что она выйдет молча, но в дверях она обернулась, и в свете лампы блеснули стекла ее очков.

- Искать Стейплфилд - пустая трата денег. От него ничего не осталось. Ничего.

Последнее слово она бросила уже выходя. Оно повисло в воздухе, словно тяжелое облако гари, а ее шаги постепенно стихали в коридоре.

Пустыня всегда представлялась мне безжизненным морем песка. С высоты тридцати пяти тысяч футов я обозревал раскинувшийся под крылом самолета пейзаж, фантастические узоры, сплетенные ветром и песком, в которых причудливо сочетались все оттенки желтого, коричневого, пурпурного и красного цветов, пока вежливая стюардесса не попросила опустить шторку иллюминатора, чтобы другие пассажиры могли смотреть кино. Я впервые летел в самолете и, конечно, не обрадовался такой просьбе, но подчинился и выпрямился в кресле с нераскрытой книгой на коленях.

Двадцать два часа до Хитроу. Я даже мысли не допускал - да неужели? - что после восьми лет неослабевающей страсти Алиса захлопнет передо мной дверь. Ее письма были по-прежнему исполнены любви и нежности. Я написал ей, что остановлюсь в отеле «Стэнхоуп» в Суссекс-Гарденз в Лондоне. Отель представлялся мне роскошным, утопающим в зелени, пусть даже в рекламном буклете он и значился в категории «доступных по цене». Впрочем, стоял январь, поэтому ожидать буйства зелени не приходилось, но уж на письмо, оставленное для меня у портье, я рассчитывал. Из отеля я собирался позвонить в клуб по переписке, телефон которого наверняка значился в справочнике. Возможно, следовало бы сначала написать Джульетте Саммерз, но я отказался от этой идеи, решив, что в моем случае лучше обращаться с просьбой при личной встрече.

Поскольку я перестал упрашивать Алису изменить свое мнение, никто из нас не упоминал о возможности нашей встречи. Ее отношение к тому, что я приеду жить в Англию, похоже, не изменилось: она писала, что ей будет очень приятно знать, что я где-то рядом, но только если я смогу убедить свою мать присоединиться ко мне. Мы оба делали вид, будто я приезжаю, чтобы подыскать местечко, куда бы согласилась переехать мама. И конечно, увидеть Стейплфилд, если только она выдумала тот пожар. Но разве Алиса могла сомневаться в том, что на самом деле я приезжаю к ней? Раз она не требовала с меня обещания не приезжать, она должна – а разве нет? – ожидать, что я разыщу ее.

Бизнесмен, сидевший в соседнем кресле, отложил свои бумаги и заснул. Я уже знал, что не испытываю страха перед полетом. Тогда откуда взялось это ощущение тревоги, напоминающее о себе неприятным холодком, осевшим где-то в низу живота? И ведь появилось оно не перед взлетом, а еще за несколько дней до отъезда.

Возможно, все дело было в том, что я переживал из-за матери гораздо больше, чем мог себе признаться. Она вела себя так, будто я был смертельно болен, а не отправлялся на три недели в Лондон. В феврале мне предстояло приступить к работе в качестве помощника библиотекаря в колледже Мосонского университета. Я еще не представлял себе, как смогу оторваться от Алисы, но позволить себе остаться дольше, чем на три недели, не имел возможности; я должен был вернуться, чтобы заработать денег и подать прошение на постоянное проживание. Если моя мать не мыслит своей жизни без меня, рассуждал я, она должна будет преодолеть свои патологические страхи переезда, полета и бог знает чего еще. Я мог сколь угодно долго убеждать ее в том, что вероятность погибнуть в автомобиле в тысячу раз выше, чем в авиакатастрофе; все мои доводы разбивались о ее твердолобое упрямство. Я заметил, что в последнее время она стала особенно нетерпима к шуму; ее раздражало радио, а телефонный звонок был для нее чуть ли не пожарной тревогой. Казалось, она слышит – или намеренно вслушивается – в звуки, не воспринимаемые другими.

Прошло больше года с того памятного разговора в гостиной, когда она сообщила о том, что Стейплфилд выгорел дотла, и за все это время ни разу не упоминала об Алисе. Наша жизнь совершенно не изменилась, и мы оба делали вид, будто запретных тем для нас не существует. Несмотря на ее протесты, я научился готовить, хотя она так и не подпускала меня к посудомоечной машине и утюгу, так же как и отказывалась брать с меня деньги на питание. Но все-таки

расстановка сил изменилась. Теперь казалось, что держит оборону она. «Я не буду больше упоминать о твоей подруге, – словно говорило ее молчание, – а ты не приставай с расспросами о прошлом».

Я совершенно не ожидал от себя такой реакции на потерю Стейплфилда. Мой здравый смысл, казалось, беспомощно взирал со стороны на то, как убиваюсь я по охваченному огнем дому, в котором сгорает все, что мне было так дорого. Даже сознавая всю никчемность подобных переживаний, я не мог совладать с эмоциями. А однажды вечером, за письмом к Алисе, меня вдруг осенило, что счастливые фантазии последних лет были связаны с комнатой Алисы, которая волшебным образом ассоциировалась в моем сознании со Стейплфилдом. И вот теперь выходило, что и ее больше нет, она тоже сгорела. После столь мрачного открытия – им я не решился поделиться с Алисой – меня стали посещать ночные кошмары, в которых я видел себя стоящим в одиночестве у окна, откуда смотрел на выжженный огнем, почерневший пейзаж и чувствовал себя в какой-то мере ответственным за это опустошение.

И все же временами – и это приводило меня в еще большее смятение – я подозревал, что мать нарочно придумала пожар, чтобы прекратить дальнейшие разговоры о Стейплфилде, но причины, толкнувшие ее на это, оставались для меня загадкой. Алиса, при всем своем нежелании поддерживать мою критику в адрес матери, согласилась со мной. «Возможно, – писала она, – там была какая-то семейная ссора, после смерти твоей прабабушки, и твою мать лишили наследства – разумеется, она не могла совершить ничего такого, что оправдало бы этот суровый вердикт. Но я знаю, каково это – вычеркивать из своей жизни все, что было дорого и любимо. Может, твоей матери легче было сказать, что дом сгорел, чем признать, что в нем живут другие люди. Конечно, она должна была бы сказать тебе о пожаре еще давно, когда ты был маленьким, чтобы не обнадёживать на будущее. Ну, в том смысле, что ты когда-нибудь сможешь там жить. Но вполне возможно, тогда она еще надеялась на то, что Стейплфилд может вернуться к вам, а потом произошли какие-то события, поставившие крест на ее надеждах, и тогда она вообще перестала говорить о нем.

Знаешь, я кое-что вспомнила.

Дописываю спустя некоторое время: я только что перечитала твои письма, самые первые, и наткнулась на такие строчки: „Мама сказала, что мы не можем поехать туда жить, потому что дом давно продан, а выкупить его нам не под силу“. Возможно, тогда она еще надеялась, что когда-нибудь вам удастся

сделать это. А потом что-то произошло, и она была вынуждена расстаться со своей мечтой. Что ты на это скажешь?»

Ее рассуждения выглядели логичными. Я вспомнил фотографию, которую когда-то нашел в спальне матери. Из-за нее, как я всегда думал, мать и перестала говорить про Стейплфилд, это было своего рода наказание для меня. Но быть может, я ошибался, и как раз в тот день или накануне мать получила плохие известия. Возможно... но эта безудержная ярость... Нет, что-то тут не так. А если предположить, что, поймав меня с фотографией, мать послала запрос насчет Стейплфилда и ответ ее огорчил? Как бы узнать, что это были за новости? Спрашивать ее бесполезно. «Фотография... какая фотография?» А если спросить напрямую: «Чья это фотография?» Явно не Виолы, ведь мать всегда говорила о ней с такой теплотой и нежностью. Разве не держала бы она фотографию Виолы на самом видном месте, хотя бы в тот период, когда мы свободно беседовали о Стейплфилде?

И к тому же я не стал расспрашивать мать про «Серафину»; так что даже не мог с точностью утверждать, что «В. Х.» и есть моя прабабушка. Я открывал ящик еще раз, но там было пусто. Позже, когда я стал разбираться в библиотечном деле, до меня дошло, что можно заказать обзор «Хамелеона» по межбиблиотечному обмену, снять фотокопию с рассказа, подsunуть его матери, сделав вид, что мне невдомек, кому принадлежат инициалы «В. Х.», и проследить за ее реакцией. Проблема была лишь в одном: во всем Южном полушарии нельзя было найти ни одного экземпляра «Хамелеона». Из Британского библиотечного каталога я узнал, что обзор вышел лишь в четырех номерах с марта по декабрь 1898 года. Заполучить их можно было только по особой читательской заявке; вот почему в кармане у меня лежало рекомендательное письмо.

Сходство между Серафиной и Алисой временами тревожило меня. Впрочем, если рассуждать рационально, ничего странного в этом и не было. Наверняка Виола посещала выставки картин прерафаэлитов. И скорее всего, видела леди Шалотт, когда ее портрет был впервые выставлен в Королевской академии. Только мне Серафина не напоминала ни леди, ни кого бы то ни было еще, лишь Алису, которую я видел во сне. И, открывая ящик во второй раз, я словно тянулся за тем, что мне принадлежало по праву.

Самолет содрогнулся и загрохотал, словно автобус, свернувший на гравийную дорогу. Впереди двадцать с лишним часов полета. Но ощущение беспокойства не отпускало. Я надеялся, что чтение отвлечет меня, и достал книгу Генри Джеймса «Поворот винта и другие сказки».

«Где же мисс Джессел, милочка?» Эта фраза крутилась у меня в голове всю беспокойную и нескончаемую ночь, которую я провел на борту QF-9. Монотонный гул двигателей уже казался ритмичной мелодией, звучащей в такт моей присказке. Странно, но сама Алиса писала свою фамилию с двумя «л». Временами темп мелодии менялся и начинал отстукивать: «Мисс Джессел, мисс Джессел, мисс Джессел, мисс Джессел», словно проверяя, достаточно ли я бодр для галлюцинаций. «Где же мисс Джессел, милочка?» Ждет в комнате Алисы, где же еще? Я уже знал, что никогда не забуду это имя. Как-то я заглянул в телефонный справочник Мосона. Ни одного Джессела – ни с одним, ни с двумя «л». Алисе будет достаточно лишь взглянуть на меня, чтобы понять, что со мной происходит нечто ужасное. А я, глядя на нее, буду упрямо вспоминать мисс Джессел из своей глупой песенки. Мисс Джессел с мертвенно-бледным лицом, в длинном черном платье. Похожую на того бродягу, что ходит по могиле моей матери. А известно ли вам, сэр, что вы оставили мать в крайне болезненном состоянии, а между тем поезда в вашем гараже ходят строго по расписанию, и где же все-таки мисс Джессел, милочка?.. Я проснулся от тяжелого удара, с которым самолет рухнул на посадочную полосу Хитроу, и первое, что я увидел, были струи дождя, заливавшие крыло.

Я никак не ожидал, что будет так темно, когда я окажусь на вокзале Паддингтон. И что «Стэнхоуп» – куда меня в конце концов поселили – окажется сущей дырой, провонявшей псиной, прогорклым маслом и плесенью. Лестницы скрипели при каждом шаге, а единственное оконце в моей комнате – или, вернее сказать, камерке на втором этаже – смотрело на почерневшие стены соседнего дома, испещренные ржавыми лестницами пожарных выходов.

И никакого письма от Алисы, хотя я и сообщил ей адрес отеля за две недели до отъезда. Пытаясь не поддаваться депрессии, которая неумолимо затягивала меня в свою черную воронку, я спустился в фойе, где имелся платный телефон.

Пролистав адресную книгу, я убедился лишь в том, что никакого Международного клуба друзей по переписке в ней нет. В телефонной книге я нашел с десяток Саммерз, Дж., но ни у кого из них в адресе не значился

почтовый ящик Маунт-Плезант. Когда наконец я догадался позвонить в почтовое отделение Маунт-Плезант, там мне лишь подтвердили, что абонентский ящик 294 действительно закреплен за Международным клубом друзей по переписке. «Все остальные сведения строго конфиденциальны, сэр, сожалею, что не могу сообщить вам больше, я дорожу своей работой, простите, сэр, но я не могу вам помочь».

Я потащился по скрипучей лестнице обратно, к себе в номер, лег на кровать и зарылся головой в подушку.

Все, что рассказывала мать, оказалось правдой: действительно, тротуары были завалены горами черных пластиковых мешков с мусором. У подземных переходов на подстилках из мокрого картона валялись бродяги в оборванных одеждах. Я бы не прошел и пары кварталов под сыпавшим мокрым снегом без риска заблудиться, а снующие толпы прохожих смели бы меня вместе с моим путеводителем. Продрогшая, но от этого не менее агрессивная шавка заливалась истошным лаем. Зяблики, похоже, мутировали в прожорливых голубей.

Каждое утро я прохаживался по вонючему холлу отел я в ожидании почтальона, но письма все не было. Потом я отправлялся в Британский музей, где засиживался в читальном зале до самого закрытия, пытаюсь отыскать хотя бы какой-то след Алисы. Я понимал, что должен испытывать восхищение перед величием музея с его необъятными каменными колоннами, впечатляющим внешним двором с толпами туристов, галдящих на разных языках, вавилонским столпотворением на ступенях и читальным залом, в котором вполне могла бы разместиться вся библиотека колледжа Мосонского университета. Я вглядывался в золоченый купол, венчавший своды музея, и пытался почувствовать хоть что-нибудь, но мои эмоции были такими же, как если бы я смотрел на солнце сквозь густую пелену тумана. Я ощущал на себе взгляды окружающих; временами мне казалось, что они смотрят на меня с ужасом, словно видят черную пелену депрессии, окутавшую меня.

Впрочем, некоторые мои собратья-читатели выглядели не лучше: маленькая старушка в замызганном сером плаще целыми днями просиживала в ряду L в окружении рваных пакетов, валявшихся у нее в ногах; а седой господин с бешеными глазами, занимавший дальний угол ряда C, каждый раз закрывал свою книгу обеими руками, стоило кому-нибудь приблизиться. Однажды, когда я

в очередной раз штудировал справочники, рядом со мной разместилась высокая, истощенного вида пожилая дама, от которой сильно пахло нафталином, а лицо было скрыто такой тяжелой вуалью, что даже контуры не проступали. Она раскрыла перед собой «Таймс», но я чувствовал, что она все время смотрит на меня.

На третий день я отважился на прогулку по Кингзуэй к Кэтрин-Хаус, где хранились записи актов о рождении и браках. Им оказался мрачный, сырой, бетонный бункер, пропитанный запахами соевых фоллиантов и сырых тряпок. Ежеквартальные реестры – огромных размеров тома, скрепленные стальной лентой, – стояли рядами на металлических полках. В томах красного цвета хранились записи о рождении, в зеленых – о браках (реестры смертей держали в хранилище на другой стороне Кингзуэй). Архивариусы с унылыми физиономиями проворно сновали между полками, с грохотом стаскивая тяжелые папки с полок, а потом запиная их обратно. Кто-то ругался и кричал; шум стоял оглушительный. Несколько минут я провел в вежливом ожидании возле полки с реестрами, датированными 1960 годом, прежде чем решился ввязаться в схватку. Кто-то здорово врезал мне по почкам металлическим углом фоллианта, затем последовал удар локтем по ребрам, потом чья-то невидимая рука схватила с полки том с надписью «J – L январь – март, 1964» и унесла в неизвестном направлении. Я понял, что даже найденное мной свидетельство о рождении Алисы не даст ровным счетом ничего. Запуганный, дрожащий от нервного напряжения, я сдался без боя.

Оказавшись в спокойной тишине читального зала, я составил список всех частных лечебниц Суссекса, после чего извел кучу денег на телефонные звонки, но Алиса нигде не значилась. Она как будто пряталась от меня.

На пятый день я проснулся с тяжелой головой и осипшим горлом, но, вместо того чтобы валяться, уставившись в темноту двора-колодца, я опять поплелся в музей.

В справочнике Суссекса за 1930 год я стал искать упоминание о Стейплфилде. Мне попался лишь Стейплфилд-Хаус, но его владельцем был полковник Реджиналд Бассингтон. Ни Виола, ни кто-либо из рода Хартли не значились среди жителей Стейплфилда и окрестных деревень и городков. Имени Виолы Хартли не было и в главном библиотечном каталоге. Я заказал четыре номера «Хамелеона», с ужасом думая о том, насколько пророческой оказалась «Серафина».

Но из заказанных номеров обозрения мне выдали лишь четвертый, и последний; заявки на первые три номера вернулись с пометкой «Уничтожены при бомбардировках во время войны». Без особой надежды и даже интереса я просмотрел оглавление. «Хамелеон», том 1, номер 4, декабрь 1898 года. Эссе Эрнеста Риса. Рассказ Эйми Леви. Поэмы Герберта Хорна и Селвин Имидж.

И – «Рожденная летать: Сказка», автор В. Х.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/dzhon-harvud/ten-avtora-2/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

----

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/dzhon-harvud/ten-avtora-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)